

GABIN

par André Brunelin



Préface de
minique Gabin

ROBERT LAFFONT

Жан Габен. Актер удивительного обаяния, со скупой манерой игры, он покорял в любой роли. Такова уж природа истинного искусства — мы нередко отождествляем экранного героя и исполнителя, отсюда во многом и интерес к личности актера, его судьбе.

У нашего зрителя такой интерес к Габену всегда был огромен, но вот книги о нем у нас не было. Как, впрочем, долгое время не было ее и во Франции. Появилась она лишь спустя десять лет после смерти актера, занимавшего неоспоримое первое место во французском и европейском кино. Написал ее Андре Брюнелен, человек, друживший с Габеном более двадцати лет, бывший одно время его пресс-секретарем. Еще в начале знакомства с Габеном он говорил, что напишет мемуары. Мемуаров не получилось — получилось удивительное повествование, где голос Габена перемежается с голосами других людей — его близких, друзей, знакомых...

И можно только порадоваться тому, что издательство «Искусство» решило выпустить книгу Андре Брюнелена, фрагменты из которой мы и предлагаем читателю.

— Андре Брюнелен:

«Ради Габена — хоть на Луну...»

жаю к Габену. Он сам открывает калитку сада собственного дома и приглашает нас в гостиную. Он любезен, улыбается, но тут же заставляет меня покланяться, что ему не придется произносить речи. Я кланюсь во всем.

— Поймите, я не умею говорить на публике, это выводит меня из себя, поэтому не устраивайте мне такой подлянки... Он одет в черный пуловер из кашемира, на шее небрежно повязан фуляр из темного шелка. На нем серые фланелевые брюки и твидовый пиджак от «Барберри».

Мы с приятелем упакованы в воскресные костюмы. На нас белые рубашки, галстуки. Все это куплено в «Дешевом счастье», самом шикарном магазине нашего квартала.

— Я не думаю, что этот вечер требует светских одежд, — лукаво поглядывая на нас, произносит Габен, как бы извиняясь за свой «будничный» наряд.

— В такой одежде вы не будете выделяться среди местных, — ляпает мой приятель-учитель, намекая на то, что у нас рабочий квартал.

Он близорук и не может отличить пуловер, купленный на рынке Аржанте, от пуловера от «Хилдиша и Кея» Габена.

— Могу переодеться, — тут же заворчал Габен, несомненно, оскорбленный тем, что его подозревают в поисках дешевой популярности.

По тону делаю перевод: «Если будете так продолжать, могу изменить свои планы и остаться дома!». Я спешу прервать этот диалог на тему моды и уверяю его, что все хорошо.

На улице, увидев новехонкий «рено», Габен не в силах сдержаться. Его восклицание повергает меня в ужас:

— Черт подери! Мне нужен рожок и тубик вазелина, чтобы втиснуться внутрь, и шопор, чтобы выбраться!

Мой приятель, гордящийся своим автомобилем, расстраивается, Габен успокаивает его, весело усмехается и не без труда откидывается на переднее сиденье, поджав колени к подбородку. Я устремляюсь за ним. Позже я узнал, что он ненавидит маленькие автомобили, что вообще ненавидит все, что узко, что ему просто необходимо располагаться с удобством, ибо он страдает клаустрофобией в тесном пространстве.

Но в тот вечер мы попали на «доброе Габена», ибо он высказал свое неудовольствие только тем, что, усевшись, расстегнул верхние пуговицы брюк, — впрочем, позже я узнал, что его жест не имел никакого отношения к тесноте машины, а был привычкой: он делал это, как только садился.

Я посветовал приятелю ехать поменьше, поскольку тот недавно сдал на права. Совет был излишним.

От ощущения, что рядом сидит знаменитейший человек, он ни разу не превысил скорости в пятьдесят километров. Мы плелись от Нейи до Аржанте со скоростью омнибуса, и я опасался, что Габен от неудобств заблутнется, как и я. Я ошибся. Он был внешне доволен таким сенаторским выездом.

И снова могу сказать, что позже узнал: он ненавидит скорость и за рулем машины ведет себя с осторожностью умудренного жизнью кота.

— Вы увидите Аржантей, это немного... начал я безопасный разговор, чтобы сократить казавшееся мне бесконечным время.

— Я знаю, — перебил меня Габен, — вернее, знал... Когда я был фантомом, я, бывало, околачивался в «Солей д'ор»... Он еще существует?

Немного удивленный, я сказал, что мы проедем мимо, но здание было разрушено во время войны...

— Как классно мы там отплясывали! — начал рассказывать Габен. — Музыканты сидели на лоджии над танцплощадкой. Чистое убеждение из краснокотих... По вечерам в субботу туда приходили подыгрывать ногами и рабочие, и все кончалось потасовками... Хозяин в конце концов привинтил столы и стулья к полу, но так и не нашел решения для бутылки и стаканов... Во время драки все звенело... Иногда я ходил в «Мулен де ля Галетт» на холмы... Там было потише...

Он имеет в виду «Мулен де Саннуа» на границе Аржанте.

— Помню... Тогда надо было подниматься сквозь виноградники и поля спаржи... Мы там пили сидр и заедали лепешками, отменное лакомство... Это еще существует?

Объясняя, что виноградники и поля спаржи поуменились, берет верх городская цивилизация, но весной еще встречается знаменитая аржантская спаржа — настоящая, а осенью несколько цуцелешви виноградары угущают в мэрии белым вином. (Увы, эти времена давным-давно прошли). Что касается «Мулен де ля Галетт», то там до сих пор танцуют, пьют сидр и едят лепешки...

— Странно, — печально вздыхает Габен, — я думаю, что ничего этого давно уже не существует... Вообще-то я сам переменялся... Постарел...

Я вижу, что Аржантей пробуждает в Габене счастливые воспоминания о молодости, и понимаю, что места, по которым мы едем, оказались решающими в его согласии на встречу. К тому же в этом человеке меня удивляет все. Он прост, приятен, тепло относится к нам. Ничего общего с легендарной, по крайней мере той, что сотрется прессой, и теми, кто похвастается спонсорскими с ним в профессиональном плане. Они представляют его человеком трудным, малообщительным, нечто вроде медведя с постоянно дурным расположением духа.

ПРИБЫВ к кинотеатру, где должен был состояться сеанс, я с облегчением констатировал, что бригада моих приятелей пороботала на славу: «ВО ПЛОТИ» исчезло с афиш под жюриными мазками черной краски, потеки которой свидетельствовали о ее свежести. Габен наверняка бы не обратил внимания на гротескное выражение, ибо я чувствую, как он сжался, увидев в неоновых слюхах перед кинотеатром ожидающую толпу, которая не нашлось места внутри.

— Неужели придется пересечь «это»? — с возмущением восклицает он. Опустив шляпу на глаза, Габен выдвигается из «рено», застегивая брюки. Его подкатывают гуды выдают замешательство. Он следует за мной сквозь толпу, приветствующую его аплодисментами, но не направила на него. Ем кричат: «Браво, Габен!» — и даже по-приятельски: «Салют, Жан!» Я боюсь, как бы его не остановили, чтобы потребовать автограф. Но нет, народ оказывает ему достойный прием. Он удивлен этим.

В конце вечера он мне сказал:

— У меня было ощущение, что собрались старые кореш, пришедшие поздравиться со мной и пожелать успеха!

Но пока он взвизгивает и идет сквозь толпу, приветствуя людей легкими кивками головы. Его губы поджаты до белизны, и ему едва удается выдать из себя улыбку.

Подталкивая его в зал, я бормочу про себя, что его Голгофа — это именно так и выглядит — закончилась. Заблуждение.

Он вдруг камешет, оказавшись перед пятьюстами зрителями, — я ни разу не видел в зале столько публики, которая разом встает и устраивает ему овацию. Я поражен, заметив невероятное смущение, которое Жан испытывал всю свою жизнь в связи со своей популярностью, и в будущем я не раз был тому свидетелем. Из-за робости, из-за скромности он всегда с трудом переносил то, о чем мечтал каждый актер. Однажды он мне сделал такое обескураживающее признание:

— Не могу объяснить... Мне кажется, что все эти аплодисменты адресованы кому-то другому, а не мне... Я стою, принимаю их и повторяю себе, что не должен этого делать, что это несправедливо...

Я веду его на место среди зрителей рядом с Пьером Превьером, другом и заведующим нашего кино, и Клодом Эйманом, постановщиком «Виктора», сыгравшем годом раньше Габен.

Хотел тут же усесться на свое место, но вынужден, держа в руке лютую шляпу и перекинув через плечо пальто, вежливо приветствовать механическими кивками окружающую его со всех сторон публику, которая упорно остается на ногах и хлопает в ладоши в его честь. На его лице похожая на гримасу улыбка. Я бросаю ему на помощь и, махая руками, прекращаю овацию. Он бросает на меня признательный взгляд и с облегчением опускается в кресло. Слово желает утонуть в нем. Я произношу несколько вступительных слов и сажусь рядом с ним.

— Ну как?

— Лучшее! Весьма мило, но я ожидал, что будет не больше шестидесяти человек...

— У нас всегда столько народа, — сообщаю я, не погрешив против истины.

Он окидывает взглядом обшарпанный зал. Кинотеатр был возведен незадолго до начала войны, в тридцать девятый год на месте склада зерна и кормов. Иногда, когда крутят немые фильмы при почитательном молчании нашей толпы публики, под экраном пробегают крысы, возможные отпрыски тех, кто раньше пировал в зерноскладе. Так случилось и в тот вечер, когда показывали «Вампир Носферату» Мурнау. Эф-

Надо думать, что в тот вечер все поняли Жана Габена, поскольку, оценив его простоту, публика решила дать ему уйти — я едва не написал... убежать, — не пожелав на прощание аплодисментов.

А я понял, что этот человек с обнаженными нервами, чьи невероятные скромность и робость мешают ему говорить перед публикой, умеет высказать главное в нескольких словах.

Позже, прощаясь у дома, Жан Габен по-простому говорит мне:

— Позвоните!.. Заходите на студию, когда пожелаете... Договорились?

Я пообещал. Правда, не питая особых иллюзий, поскольку под влиянием эмоций, испытанных им в этот вечер, его приглашение было искренним, но я считал, что для такого человека, как он, подобное событие должно быстро забыться, впрочем, как и его виновник. Я также находился в плену легенды, по которой у Габена были дни хорошего и дурного настроения, и что последние случались гораздо чаще. Мне повезло попасть на пару «добрых» дней Габена: тот, когда я ему позвонил, и тот, когда он ответил на приглашение.

ВРЕМЯ шло, а я вроде и не собирался откликнуться на его приглашение. До того дня, пока не принесли папку фотографий, сделанных в памятный вечер. Я подумал, что любительские фотографии могут доставить ему удовольствие.

Позже я узнал, что Жана совершенно не волнуют его фотографии. До такой степени, что — исключительный случай у актера, естественно склонного по роду профессии к некоторому нарциссизму (к нему это не относилось), — ни в одном его жилище я никогда не видел его фотографий.

Я решил отправиться в студию для передачи ему фотографий. Он только что начал сниматься в фильме Жоржа Ланкомба «Их последняя ночь». Он встретил меня с такой теплотой и удовольствием, что я едва не засомневался в истинности легенды о «плохих» и «хороших» днях Габена. Для меня везение продолжалось. Он представил мне всем на съемочной площадке примерно в следующих словах:

— Он занимается киноklubом в Аржанте... Крайне интересно... Там показывают старые фильмы, даже немые... Только хорошие... Вы меня знаете, я не люблю выставлять себя напоказ, но там другое дело... Отменная публика, которая не насаждала с дурацкими вопросами... Все просто, и я — вы знаете мою любовь к речам — рассказал им про свою жизнь...

Он немного преувеличивал по поводу рассказа о своей жизни, но, похоже, был горд, показывая крохотные фотографии, принесенные мною, на которых было видно, что он говорит, сидя среди зрителей.

Этот день стал началом нашей дружбы, продолжавшейся почти двадцать пять лет. Я вскоре стал проводить с ним долгие часы в студии и в других местах, наблюдая, как он играет, как живет, слушая его рассказы о своей жизни, и прошлой, и той, которую проживал ежедневно.

За годы дружбы я узнал множество «плохих дней» Габена. Некоторые из них были просто чудовищными! Но как и в первый день, «хороших» и даже «очень хороших» оказалось предостаточно.

Я появился в нужный момент, и вот почему он, как я предполагал, с легкостью включил меня в свой привычный мир. Я был из другого поколения — и намного моложе его близкого окружения, — а мой взгляд на кино не всегда совпадал с его. Быть может, его интересовало подобное столкновение.

Наша дружба еще более окрепла во время частых и внушительных обедов у него дома или в ресторанах, откуда нас выгоняли лишь настоятельные просьбы хозяев, поскольку мы обычно забывали о часе закрытия заведения.

Сколько прекрасных вечеров проведено в его компании! Слушая его рассказы о родителях, о детстве, о неуверенных шагах в начале жизни, наконец, о карьере, я решил записывать их, когда возвращался домой.

— А что если я напишу книгу о вас, Жан? — как-то осторожно спросил я его.

— А кого она будет интересовать?

— Многих.

— Сомневаюсь, но если вам не скучно, валяйте, на собственный страх и риск. Только предупреждаю вас, не слишком наседайте на меня с этим!..

Итак, я решил написать эту книгу. День за днем и во время разговоров на общие темы Жан делился частичками своего прошлого, выдавая их навалом, без всякого порядка, говоря о жизни, о своей карьере, о людях и вещах. В этом не было ничего предумышленного. Как если бы идеи книги вообще не существовало ни в его, ни в моей голове. К тому же он ни разу не вспоминал о ней.

Однажды, это было в 1955 году во время съемок «Простых людей» Анри Вернея, я пришел, как бывало часто, в студию, поскольку мы собирались отобедать вместе, как он говорил, «среди мальчишек».

После он снимал грим в своей уборной, я сказал, что хочу почитать ему текст.

— О чем?

— Ваши воспоминания...

— О! Не морочьте мне голову с этим!..

— Надо, Жан... Я слушаю вас, и мне необходимо ваше согласие... Дело всего на час...

Целью час!.. Нет, увольте, я еще имею кляки!

Надувшись, он рухнул в кресло с пачкой сигарет и полным стаканом виски. Я уселся перед столиком и начал читать, сам не зная, зачем делаю это. Текст был не окончательный, нечто вроде черновика, без плана, где я говорил о его родителях, о его детстве, о его театральном и кинематографическом дебюте. К этому добавились разрозненные сюжеты о различных периодах его жизни, которые он когда-то мне рассказывал.

Стоп был прикреплён к стене, а потому я был вынужден читать, сидя спиной к нему. Это было нелепо, поскольку я в основном пытался разобраться в своих записях, а потому не старался уловить его реакцию. И с некоторым опасением повторял про себя, что вскоре узнаю ее...

Чтение этого черновика на ста пятидесяти страницах затянулось дольше, чем я предполагал. Однако он ни разу не перебил меня и ни разу не выказал нетерпения. Я только слышал за спиной, как он изредка чиркал спичкой, закурявая очередную сигарету.

Окончив чтение, я не сразу решился посмотреть на него и нарочито долго собрал свои бумаги. Наконец обернулся: он где-то витал и одновременно присутствовал здесь, его покрасневшие глаза свидетельствовали, что он весь был в переживаниях.

— Это хорошо... хорошо... наконец произнес он глухим срывающимся голосом.

И тут же встав, в свойственной ему манере скрывать эмоции, проворчал:

— Теперь из-за ваших дружеских придется есть не вовремя!..

Я был настроен написать книгу, но моя тогдашняя занятость постоянно вынуждала меня откладывать проект на будущее. Я считал, что время есть и что ничто меня не подгоняет. Конечно, я продолжал регулярно встречаться с Жаном. День катился за днем, и незаметно текли годы. Мы больше не говорили о книге. Только его жена Доминик изредка спрашивала: «А как поживает книга?» Я уверился в том, что Жан забыл о ней или не хотел ею заниматься. Сегодня я знаю, что ошибался. Он говорил о ней, но не со мной. С Доминик. Ему случалось, вспоминая о книге, произнести с улыбкой: «Мои Мемуары». А тем, с кем работал, — а тоже был свидетелем этих времен — он бросал такие угрозы: «Только погодите. Когда Брюнелен выпустит мои Мемуары, вашей башке не подействуется!»

Иногда вспоминая об этой возможной книге, я ощущал неловкость. Когда Жан дал свое согласие, мы еще плохо знали друг друга, и тогда я считал, что по праву некоторой естественной разницы между нами могу написать такую книгу. С тех пор многое переменилось. Теперь я был в ситуации человека, могущего воспользоваться близкими отношениями, крепившимися воле обстоятельств. Книга могла стать от этого богаче подробностями, но мне казалось, что предостереженная мной свобода действий уже не соответствовала новой ситуации.

Почему же я выпускаю эту книгу сегодня?

Хотя прошло десять лет со дня его смерти, Жан по-прежнему живет в моей памяти. Одного этого было бы достаточно. Но дело в том, что безжалостное течение времени установило между нами новую дистанцию, превратив меня в биографа, а такую степень свободы не имеет никто общего с той, которую бы он мне предоставил при своей жизни.

Было бы злоупотреблением называть ее «Мемуарами», как с иронией и изрядной долей издевки говорил Жан, тем более что «Мемуары» фрагментарны и не окончены.

Однако в большей ее части по-прежнему слышится его голос, как это и предусматривалось сначала — иногда это рассказ от первого лица, иногда — диалог...

Я прекрасно знаю, сделаю невероятное предположение, что Жану дано узнать о написанной мною книге о нем, он не преминет сделать вывод на уровне своей скромности и той философии, на основании которой оценивал людей и события мира его:

— Ну и хренятна!

Вступительное слово и перевод с французского А. ГРИГОРЬЕВА.



фет был ужасающий!.. На боковых стенах зала огромные выцветшие портреты, нарисованные местным «художником», которые должны изображать некоторых кинозвезд с международной репутацией. Габен указывает мне на одно лицо между Гари Кулером и Мирной Лой.

— А то кто такой?

— Вы!

— Ну и ну! — его сотрясает смех, и он наконец-то расслабляется.

Целый час один за другим идут отрывки из фильмов «Пепе ле Мок», «Знамя», «Набережная туманов», «Человек-зверь» и других. После каждого отрывка раздаются аплодисменты. Вторая часть вечера посвящена демонстрации ленты «День занимается».

Сеанс завершился продолжительной овацией. Безусловно, люди оценили высочайшее качество фильмов, но она гремит в адрес того, кто играет в них, чья личность накладывает на них свой отпечаток.

Я чувствую, что Габен находится под сильным впечатлением того, что смотрит три часа. До сегодняшнего дня он ни разу не видел — впрочем, и никто другой, — такого объединения основных кадров из его фильмов. Он даже сказал мне, что многие фильмы не смотрел с довоенной поры. Он в шоке от открытия и не сразу приходит в себя. Однако решается встать и приветствовать собравшихся тем же манером, что и в начале вечера. Он еще больше смущен.

Зал затихает. Все, конечно, ждущ, что он будет говорить, как любой актер и режиссер, приходящий к нам, но усаживается на место и глядит на меня с видом побитой собаки.

— Мсье Габен, — обращаюсь я к нему, повысив голос, чтобы слышали все, — вы заставили меня покланяться, что вам не придется говорить...

К моему величайшему удивлению он подхватывает мои слова, как в обычном разговоре:

— Хм, а что вы хотите услышать от меня после всего этого? Спасибо... Спасибо всем присутствующим, потому что вы все сделали мне необычный подарок, о котором я не забуду...

Он говорит, сидя и глядя на меня, своего собеседника, но через меня его слова адресуются всему залу. Я опасался, как бы публика с задних рядов не начала кричать «Встаньте! Вас не видят!..» Его бы это возмутило, и очарованием пришел бы конец. Но никто не шелохнулся. Среди глубокой тишины голос Габена с легкостью доносится до самых последних рядов. Зрители с передних рядов и сидящие по бокам хорошо его видят, даже не приподнимаясь с места. Кое-кто из сидящих поодаль приветствует, но я ожидаю худшего. Но нет. Люди на цыпочках движутся по проходам, останавливаются, слушают и смотрят на Габена. Удивительная атмосфера, но он не осознает этого. Он вдруг забыл о присутствии пятисот человек. Он говорит...

— Поймите, я не знаю, какое впечатление это произвело на вас, когда вы смотрели и пересматривали эти фильмы, но для меня они были ужасной востройкой... Я доволен, но в то же время повторяю себе, что не так уж приятно думать, что этот тип на экране мог бы быть моим сыном... Я в это время даже забыл, что это я сам... Без шуток!.. Из-за голоса... Он изменился... Ну, конечно, и рожа... (Он смеется). Вы анализируете все это... Историю, постановку, игру актера... Но я, по прошествии лет, видя некоторые сцены, говорю себе, что мог бы сыграть их иначе... Там я сделал лишним жест, вполне хватало одного взгляда, а там я взял неверный тон... Но в общем-то не это важно для меня... Важно то, что я ощутил, но об этом трудно говорить, это... как бы вам сказать... слишком интимно... Это часть моей жизни, вы понимаете!..